

ДМИТРИЙ УРНОВ

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПРЯМОЙ,
ИЛИ
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА СИММОНСА

Из времен холодной войны

* * *

За океан впервые попал я не критиком, а — кучером, регулярных литературных контактов с американцами еще не было, во всяком случае, для меня они были недоступны. Зато доверили мне сесть на облучок и взяться за вожжи, чтобы доставить за океан нашу тройку. Был я связан не только с ИМЛИ, но и с ЦМИ — Центральным Московским Ипподромом, связан до того, что это сбивало с толку моих иностранных корреспондентов, и приходили из-за границы письма, адресованные на ипподром им. Горького.

Мой порыв иппический (*hippique*, франц. — конный), как еще в университете определили Самарин с Виппером, мои наставники, у которых я отпрашивался с лекций на конюшню, был с их точки зрения рецидивом реакционного романтизма, они рассматривали мое стремление на ипподром как своего рода робинзонаду или очередной руссоизм, своего рода “бегство в пампасы”, и, укоризненно качая головами, отпускали меня к лошадям. А я получил допуск на призовую конюшню, но, увы, оказалось, лишен я чувства лошади. Не имелось у меня ни чутья для посылы, ни понимания пэйса (*pace*, англ. — резвость). “Ни рук, ни головы у тебя нет, хотя язык привешен”, — говорили наездники, однако за энтузиазм мастера прощали мне мою наездничью бездарность и доверяли как переводчику сопровождение иностранных экспертов, приезжавших отбирать четвероногих участников для больших международных

УРНОВ Дмитрий Михайлович родился в 1936 году, литературовед, в 1958—1988 гг. — сотрудник Института мировой литературы, в 1988—1992 гг. — главный редактор журнала “Вопросы литературы”, в 1978—1991 гг. координировал проекты по литературоведению в Советско-Американской Комиссии гуманитарных наук, в 1992—2006 гг. преподавал в США, автор биографий и редактор русских изданий английских и американских писателей, а также работ по теории литературы. Со школьных лет занимался конным спортом, опубликовал книги “По словам лошади”, “Железный посыл”, “Приз Бородинского боя” и “Жизнь замечательных лошадей”. Живет в США.

призов. Лишенный рук, способных эффективно орудовать поводьями или вожжами, находясь на низшем ранге как ездок, я, конник без головы, работающая языком, поднялся выше некуда, очутившись среди крэков и кейтонов. Крэки – лошади экстра-класса, Вильям Кейтон – наездник-американец, некогда выступавший в России, считался “королем езды”, имя его стало нарицательным. Если бы меня не знающий услышал, с какими лошадьми и какими людьми возле этих лошадей случилось мне иметь дело, то принял бы мои слова за хлестаковскую похвальбу.

Заокеанская поездка зимой шестьдесят восьмого года явилась щедрой наградой мне за службу, а тройка наших рысаков была символическим подарком товарного вагона магнату, скотоводу, директору железнодорожной компании, основателю Пагуошской научной конференции и лауреату Ленинской премии мира Сайрусу Итону. Спутником моим был ветеринарный врач, мастер своего дела, которого знали и признавали за авторитет во всем конном мире, почтительно называя его Dr. Shashirin. С учетом слов Гете “Жаль, лошадь лишена дара речи”, наш доктор угадывал самочувствие всякого рысака. Различными видами наземного и водного транспорта доставляли нас с погрузочной на Беговой к берегам Великих озер. Только приехали, запрягли, лошади с настоя понесли, разбили экипаж, а меня волокли на вожжах по земле – на глазах у папы Сайруса, как называли Итона в его окружении. После парадного выезда, прошедшего более или менее благополучно, старик-хозяин ссадил меня с козел и отправил заниматься, как он выразился, настоящим моим делом – выступать на телевидении и читать лекции по школам.

За поездку я и познакомился с русской Америкой, она потянулась к нам, притягиваемая тройкой, как магнитом, и – поразила своим размахом, целая страна, хотя и разбросанная по свету. Было это еще до “третьей” (четвертой) волны, и я теперь понимаю, насколько наша эмиграция была по составу совсем другая, а главное, малозаметная. “Мост построил инженер из России”, – сказал американец, который встретил нас с доктором в аэропорту в Нью-Йорке и вез на другой конец города через мост Вашингтона. Наш хозяин не помнил, я же тогда и не знал имени – Моисеев. В Америке бывший студент Балтийского Технологического института, построивший пять важнейших мостов на Восточном побережье и приглашенный консультировать на Западном строительстве знаменитого моста у Золотых Ворот, был одним из немногих людей с образованием (пусть незаконченным), попавших за океан в составе первой, нередко забываемой, волны. Состояла первая волна главным образом из мелких торговцев и земледельцев; привезли они с собой богобоязненность, трудолюбие, высокоурожайную пшеницу и бублики, что со временем завоевали Америку, потеснив пончики, впрочем, и пончики, как и штаны из плотной парусиновой ткани, известные всему миру джинсы, оказались усовершенствованы смысленными и работающими российскими эмигрантами первой волны. Вторая волна, отличаясь высокой образованностью, внесла в американскую науку и культуру вклад духовный, обширный настолько, что американские артисты, в особенности музыканты и танцоры, стали брать русские псевдонимы, чтобы иметь успех. От балета до бубликов, от мостостроения до математики, от авиации до арахнологии (пауковедение) влияние русской эмиграции сказалось едва ли не во всех сферах американской жизни, но даже называемое *русским* не связывается с Россией. Кто виноват? Неприязнь к нам есть, вне сомнения, но Советский Союз – единственная из стран, бесперебойно снабжавшая Америку человеческими ресурсами (какими ресурсами!), для которой соотечественники за пределами СССР не существовали. Италия, сплавляя за океан своих бедняков и теноров, получала прибыль, а русские, если взять их как имя собирательное, включающее, согласно иммиграционной политике США, людей всех национальностей из нашей страны, первые среди эмигрантов с высшим образованием и – напоследние пасынки своей родины: очередное “неуважение себя”, как говорил В. В. Розанов.

В шестидесятых годах символом нашей американской неприкаянности явился для меня в Нью-Йорке магазин русского издателя и книготорговца Н. Н. Мартынова. Большой магазин на Пятьдесят пятой улице, в центре большого города, забытый до потолка книгами и совершенно пустой, не считая сидевшего, не шевелясь, за столом старичка-сотрудника, чей ветхий костюм говорил о крайней бедности. В магазине, шаря по полкам, пробыл я почти целый день. Ровно в час закрытия старичок, все так же безмолвно, поднялся

и, не прощаясь, ушел, а посетители так и не появились. В ту пору, судя по русской зарубежной прессе — Николай Николаевич снабдил меня газетами gratis, даром, — наши бывшие соотечественники, следуя правилу бития своих ради устрашения чужих, грызлись между собой и существенной роли в американской политике не играли. А “третья” волна, этнически однородная и сплоченная единством интересов, состояла из тех, кого зазывали в Америку; эта волна создавалась специально, как своего рода “пятая колонна” в холодной войне, и она вышла на политическую авансцену.

Вернувшись из Америки домой еще до того, как нахлынула “третья” волна, получил я в 1969 году письмо от невестки Сикорского, сестры Набокова. “Вы своим знакомым американцам скажите, какие они милые люди... Не забудьте сказать американцам, какие они милые”, — в частном послании звучит как рефрен, очевидно, в расчете на любопытствующих почтмейстеров, существовавших не только на нашей стороне океана. Сикорская по мужу, урожденная Набокова, — тесть и муж, старший сын Сикорского, строили американские самолеты, брат уже был признан американским писателем, а все-таки ешь, но чувствуй! Снимавшийся в Голливуде и удостоившийся премий, английский актер русского происхождения, Питер Устинов однажды, пусть в шутку, изображал стоящего на задних лапах пса. У Михаила Чехова прошли школу американские актеры, ставшие звездами сцены и экрана, сам же Михаил Чехов получил возможность сниматься только благодаря поддержке Рахманинова, но даже занимавшему исключительное положение знаменитейшему музыканту протезирование соотечественнику (все-таки тоже с именем) стоило немалых усилий. Ученые-корифеи Вернадский, Карпович и Ростовцев вели курсы в первостепенных университетах, издавали капитальные труды, Питирим Сорокин создал свое направление в американской социологии, и тем не менее наши научные светила помнили, что они в США из милости. Крупные, принадлежавшие ко второй волне, ученые, покинувшие Россию или из России выдворенные, но в Америку не приглашенные, чувствовали себя в положении приживал, сидящих за общим американским столом где-то с краешку. А перед только что пересекшими границу авторами из “третьей” волны, которые еще ничем, собственно, не зарекомендовали себя, распахнулись двери лучших учебных заведений и крупнейших издательств. Чужие ступени не были им тяжелы, а чужой хлеб оказывался достаточно сладок. “Я въехал в Америку на белом коне”, — рассказал мне далеко не самый видный из диссидентов. Американцы, случалось, под разными предлогами выживали с насиженных мест своих даже очень ученых соотечественников, делая это ради того, чтобы освободить место для не очень ученых эмигрантов “третьей” волны, а те на ходу меняли профессию, вдруг оказываясь специалистами по русской литературе, хотя согласно полученному на родине диплому ими не были.

В единый поток с “третьей” волной слилось движение наших внутренних “раскольников”, диссидентов. “Ее книжку издает Нопф!”, — услышал я от американского специалиста по советской литературе, и надо было видеть глаза говорившего: восхищение сочеталось с изумлением: подумать — Нопф! Виднейшее из американских издательств, выпускающее Библиотеку современной классики, печатает книжку члена Союза советских писателей. Публикация у Нопфа означала автоматическое зачисление туда же, в классику. Что ж, перечитайте книжку, которой выпала счастливая участь, чтобы удостовериться в ее классических достоинствах. Условием успеха была готовность внести вклад в доказательство того же тезиса о расхождении советской идеологии и русской литературы, и наш пишущий люд валом валил, чтобы стяжать славу бунтарей и талантов.

* * *

Все шло по Симмонсу, что стал руссистом в духе своего времени в самом начале двадцатого века — на излете того **помешательства на русских**, что началось на Западе еще в девятнадцатом столетии и захватило годы его молодости. Русские в терминах того времени — это наши классики: Тургенев, Толстой, Достоевский и Чехов. К этому короткому списку добавляли и другие имена, чаще всего это были Гоголь и Горький, но собственно русскими считались четверо, как, скажем, в изобразительном искусстве было трое итальянцев.

янцев – Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. За несколькими французами в периодической таблице литературных элементов числился образцовый стиль, как надо писать, за русскими – “руссан”, роман, населенный множеством лиц, которые, по словам одной зарубежной читательницы, “вслух рассуждают о таких вещах, какие мы не доверяем даже себе”, короче, философия с дидактикой в объеме души. “Чудесный мир, который дарили русские”, – вспоминал Хемингуэй читательские впечатления своей молодости. Того же мнения держалось целое поколение западноевропейских и заокеанских писателей, и если Эрнест Хемингуэй поехал в Париж, чтобы читать русских (дома книги были слишком дороги), то и Эрнест Симмонс поехал туда же изучать наш язык и литературу.

Из Парижа, желая узнать на месте, в силу внутренней потребности, что же такое смирение, Симмонс аспирантом отправился в Россию. Посетив Ясную Поляну, повидал толстовскую усадьбу в состоянии еще прежнем, почти нетронутым, застал в живых Валерия Брюсова, был на единственном представлении булгаковского “Багрового острова”, снятого со сцены сразу после прогона, словом, видел у нас нечто такое, чего нашим поколениям уже не довелось увидеть. И – сидел в библиотеках, что оставило у него благоговейную память о наших библиографах. “Книжные черви”, вроде Теодора Марковича Левита, чье имя Симмонс поминал словно в святцах, подняв очи горе, послужили для него живым примером той самой беззаветной жертвенности, о которой прежде он только читал. “Люди! Какие люди!” – с тех пор стало его постоянной присказкой. Молодой американский руссист лицезрел самоотдачу совершенно бескорыстную, нигде больше им не виданную. Он столкнулся лицом к лицу с людьми, не преследующими своего интереса.

Разграничивать деловые и душевные мотивы, руководившие Симмонсом, не берусь, но свидетельствую: кроме профессиональной заинтересованности была у него и привязанность. Чем занимался он всю жизнь, к тому отношение у него было душевное. Толстой, Достоевский и Чехов, чьи биографии он написал, значили для него больше любых писателей. Нашим врагом он был без неприязни к нам, свойственной многим позднейшим зарубежным специалистам по России, неприязни и даже ненависти, составившей стимул их деятельности. Те принялись изучать нас на уничтожение, а Симмонс и не стремился сражаться с нами до победного конца, понимая, что оборотной стороной торжества будет уничтожение самой области, служившей ему полем деятельности. “Люди! Какие люди!” – он тоже мог считаться настроенным просоветски и даже прорусски, на взгляд тех, для кого нас как бы не существовало или (без “как бы”) не должно было существовать.

Значительная часть трудов Симмонса находилась у нас в спецхране, или попала, как тогда говорили, “под гайку” – была припечатана шестигранным знаком запрета. На мировой арене из того же крамольного источника каждая из противоборствующих сторон извлекала свою выгоду. Борьба с буржуазной идеологией, сделавшись у нас профессией, велась так, что чем больше велась, тем больше буржуазная идеология к нам проникала, а за рубеж, как натуральный газ, нефть или сплавной лес, во всю меру наших запретов бесперебойно шло “сырье” для процветавшей там советологии. Чем упорнее у себя дома мы сдерживали самоочевидную мысль, тем большую разрушительную, направленную против нас самих, силу она обретала, и тем проще было, поймав ветер времени в свои паруса, взлететь на запретительной волне.

“Вы же сами делаете из них мучеников!” – говорил мне Симмонс в тоне упрека. Не склонный завышать достоинств даже “Доктора Живаго”, он как бы оправдывался за несоблюдение критической требовательности. Как прикажете поступать советологам? Запрещая, преследуя кого попало, мы приговаривали к бессмертию (как выразился писатель-ветеран Вениамин Каверин), а нашим противникам оставалось лишь подписываться под нашим приговором, разве что меняя минус на плюс и возводя запрещенных в гении, таланты или хотя бы просто в писатели. Работы – непочатый край (и все оплачивалось): переправлять за кордон, переводить, публиковать, обсуждать, наконец, изучать осужденные и отвергнутые нами шедевры, хотя и несовершенные, зато крайне опасные.

Между тем Агитпроп, Главлит или Спецхран не идут по эффективности ни в какое сравнение с тем самоконтролем, какому подвергают себя люди Запада, они выполняют роль цензоров по отношению к самим себе, закрывая свое

сознание наглухо и не дожидаясь, когда это сделает правительство. “Мы наших людей в ГУЛАГ отправляем, чтобы они кое-чего не знали и поменьше читали, а у вас свободой пользуются, только бы не знать и не читать”, — так, находясь за рубежом, сказал один наш видный политический деятель и хотя не повторил того же, вернувшись домой, но справедливость его слов не уменьшилась. Действительно нам не разрешали, и мы стремились узнать то, что нам не разрешали, а там просто не хотят знать, если нечто способно испортить настроение. Мы разоблачали Запад зачастую лишь потому, что не имели возможности заняться саморазоблачением, а советологи бросались разоблачать нас, избегая проблем домашних, неразрешимых настолько, что лучше о них и не думать. Не страшась властей и цензуры, там опасаются сослуживцев и соседей. У нас книги закрывали сверху, по решению Главлита, у них инициатива идет снизу: изымают и запрещают по требованию публики. Занятие советологией не только давало выход желчи, которую они изливали на нас, не желая или не имея возможности излить на самих себя, но и гарантировало работу, оплачиваемую настолько хорошо, что прекрасное состояние духа поддерживалось само собой.

Многолетние усилия Симмонса принесли плоды, когда он уже собрался уходить на пенсию. Мы, видя в нем опаснейшего врага, борьбу с ним считали первоочередной задачей, а в Америке на него как источник исходной идеи не считали нужным ссылаться. “Какой Симмонс?” — не веря ушам своим, слышал я от бывших его аспирантов, которые сделали профессорами на какой-либо из четырехсот кафедр русской и советской литературы, открывшихся согласно идее Симмонса в американских университетах. Кто послал к нам Симмонса, о нем помнили, но в академической среде США заслуги его не находили признания. Даже научный центр, им основанный, стал Институтом Гарримана. У американцев способ обретения бессмертия: платишь — получаешь, а финансировала это учреждение вдова бывшего посла в СССР. Все-таки деньги пошли на осуществление идей основателя. Начальник нашей идеологии Яковлев стажировался в Институте при Колумбийском университете еще в Симмонсовы времена, а в ноябре 1991 года, наведавшись в Гарримановский институт и выступив там с лекцией, пропел отходную коммунизму.

Именно А. Н. Яковлев, по рекомендации директора ИМЛИ Ф. Ф. Кузнецова, назначил меня главным редактором “Вопросов литературы”, и я не смел бы высказываться о нем, если бы не выступил в его присутствии на совещании. Совещание проходило в разгар перестройки и гласности, участие принимали представители всех идейно-культурно-научных сил — историки, философы, директора издательств, редакторы и писатели. “Вместо одной псевдоверсии марксистско-ленинских воззрений нам теперь предлагают другую псевдоверсию тех же воззрений”, — был мой тезис. Как иллюстрацию я использовал только что поставленную политическую пьесу Михаила Шатрова “Дальше, дальше, дальше...”. Среди присутствующих находился автор пьесы, он, если не ошибаюсь, сидел рядом с Р. М. Горбачевой, тут же находились и другие идеологи перестройки, составляя своеобразный кортеж нашей “первой дамы”. Сразу после меня Шатров взял слово и сказал: “Все, что говорил предшествующий оратор, конечно, чепуха”. Этим утверждением по моему адресу мой оппонент и ограничился, не утруждая себя ни доводами, ни доказательствами. А после совещания Кузнецов, сидевший в президиуме рядом с Яковлевым, мне сообщил, что и Александр Николаевич высказался на мой счет. “Мы, кажется, поторопились с его назначением”, — проворчал он на ухо Кузнецову. Директивное неудовольствие дает мне моральное право на критику в адрес нашего главного идеолога.

“Благодаря пребыванию Яковлева в Колумбийском университете оказалось возможным сопоставить наши взгляды”, — сказано о стажировке Александра Николаевича на страницах вышедшего в США сборника статей о “культурной дипломатии”¹. Большого не сказано — и я большего не скажу, хотя с редактором сборника был знаком, и мы не раз беседовали, но не говорили о политике, сферой его интересов являлись басни Лафонтена. Однако если учесть, что сборник посвящен успехам американской культурной дипломатии, то поворот во взглядах совершился в нужную американцам сторону: рухнул

1 См. The Fulbright Difference, 1942–1992. Eds. Richard Arndt and David Lee Rubin. New Brunswick: Transaction, 1993, p. 130.

подпиленный Яковлевым сук, на котором во древе нашей системы он сам же сидел, но колумбийский “стажер”, как известно, не упал и даже не ушибся.

До самого последнего момента Александр Николаевич только и делал, что держал нас и не пушал. Даже на закате режима, когда бывший стажер Колумбийского университета, наш партийный кардинал уже приближался к тому, чтобы сказать: коммунизму конец — туда и дорога, даже тогда он настойчиво просил нас не позорить Коммунистической партии и при обличении партийцев ограничиться словом “преступник” без указания на партийную принадлежность правонарушителя. Вызывая нас, редакторов, на Старую площадь, товарищ Яковлев с укоризной во взоре из-под пушистых бровей через толстые очки и нотами упрека в густом голосе вопрошал: “Зачем упоминать, что преступник коммунист? Зачем?” Это допытывался человек, который членство в КПСС назовет цинизмом; о крахе воззрений, которые он же “развивал и обогащал”, скажет нечто такое, о чем обычно говорят: “Как только язык повернулся!”. Обращаясь к радушно, как своего, встретившим его сотрудникам Гарримановского института, Яковлев сказал: “Сегодня мир прощается с коммунизмом, системой теоретических воззрений и практических действий, о которой было бы глупо жалеть”¹. Если бы основатель Института мог услышать яковлевскую речь, то, ценя свой вклад в создание учреждения, созданного ради подрывного изучения СССР, он бы счел себя вознагражденным, пожалуй, все же сверх всякой меры. Едва ли со времен евангельского Савла мир видел еще одно столь же внезапное и радикальное обращение. Ведь за разработку, то есть искажение и оглупление, именно тех самых воззрений ново-явленный могильщик коммунизма был в свое время назначен в академики и множество лет как недремлющий идеологический надсмотрщик осуществлял стражайший надзор за приложением к практике все тех же им искаженных воззрений, по которым он отслужил заупокойную.

* * *

В жаркую пору холодной войны, когда к нам приехал Симмонс, я только начинал работать в ИМЛИ. Находился я на самой низшей ступени научной иерархии, делая рефераты для сотрудников более опытных, однако не владевших иностранными языками — несчастье поколения, отгороженного железным занавесом от остального мира. Редкостное учреждение, Институт мировой литературы, называли мировым, что на жаргоне еще времен войны означало лучше некуда: царствовал мир, всем хватало места — ортодоксам и диссидентам, столпы режима и сотрясатели основ уживались в тех же стенах. Наученный опытом отца² и деда³, чьи служебные карьеры были искалечены доносами товарищей по работе, я Ученого секретаря Ушакова как-то спросил, что же, среди сотрудников вовсе нет склочников, и получил ответ: “Как же, есть, но мы не даем им головы поднять”.

Сотрудники Института пользовались нашими рефератами, а также получали от нас устную информацию. Мы выступали перед ними с обзорами зарубежной печати. Среди наших слушателей находились вошедшие в историю инакомыслящие. Адресовались мы к таким исследователям литературы, как дочь Сталина Светлана Аллилуева и первый из нелегальных авторов Андрей Синявский, он же Абрам Терц. Светлана Иосифовна однажды задала мне вопрос: есть ли надежда на будущее — а изъяснялись мы с ней эзоповым язы-

¹ Alexander Yakovlev. *Social Alternatives in the Twentieth Century*, The Harriman Institute, Columbia University, 1992, p. 12. The Third Annual A. Harriman Lecture.

² Михаил Васильевич Урнов (1909–1994) — из семьи сельского учителя, литературовед, переводчик, редактор, профессор литературы. В 1940-х годах был исключен из Компартии и снят с работы в Издательстве иностранной литературы “за потерю политической бдительности”.

³ Борис Никитич Воробьев (1882–1966) — из рабочих, инженер-авиатор, историк воздухоплавания, работал на первом русском авиационном заводе, участвовал в строительстве самолета “Россия-А”, редактировал ранние русские периодические издания, посвященные проблемам летания, тогда же печатал Циолковского, состоял с ним в переписке, поддержал молодого Королева, преподавал историю авиации в Московском авиационном институте. В 1940-х годах он был объявлен лжеученым-космополитом.

ком, и мой ответ был: “Ни малейшей”. Слегка подавшись вперед, как обычно он делал, глядя на нас не косившим глазом, Андрей Донатович внимал нашим рассказам о том, что появился за рубежом некто печатающийся под псевдонимом “Абрам Терц”. Мы же понятия не имели о том, что Синявский слушал о самом себе, равно как впоследствии не могли и подумать, что испытания, которые он принял на себя, были согласованы с властями, что в затворничестве нашему бывшему слушателю позволили написать книгу в полемике с нашим общим представлением о Пушкине.

Работая над рефератами, я изгрызал чрево идеологического монстра изнутри. Согласно Герцену, поддерживал порядок отрицательно. Наиболее критические по нашему адресу пассажи старался передать как можно выразительнее, чтобы тем, кто собирался использовать мои тексты как снаряды в идеологической войне, нельзя было увернуться от самоочевидности. “Ответьте, почему у нас нельзя некоторые вещи назвать своими именами!” – как бы задавал я вопрос тем, кто в полемике с антисоветской пропагандой будут цитировать мои рефераты. “Душу отводите?” – спрашивала меня моя начальница, универсально образованная Диляра Гиреевна Жантиева. Из семьи по-европейски утонченных обрусевших кавказцев, она должна была бы погибнуть от рук тех или других, если бы “высовывалась”. Но держась низкого мнения о себе, она была до того скромна, что о ее существовании вспоминали лишь тогда, когда требовалось взяться за сложную, неблагодарную работу, не выполняемую, однако, без больших знаний. Тут и говорили: “А где Диляра?” Так Жантиева была поставлена заведовать реферативным отделом, то есть отвечать, как тогда отвечали – головой, за надежность нашей продукции: переводы сложных текстов на английском, испанском, немецком и французском, со всевозможными именами, названиями и цитатами из произведений, мало известных нашей научной общественности. Но “Диляра”, как хорошо понимало начальство, фактических ошибок не пропустит – “читает на всех языках и прочитала все на свете – ха-ха!”. А подготовленные под ее неусыпным оком реферативные материалы использовались кому как требовалось, с полнейшей уверенностью в их научной надежности.

Однажды вызвали нас в отдел кадров и велели ознакомиться с запиской. Адресован этот человеческий документ был дирекции, но сочли нужным дать его прочесть некоторым сотрудникам, в первую очередь референтам. Едва только заглянув в слегка измятую страницу из ученической тетради (для личных целей наша начальница избегала пользоваться писчей бумагой, которую выдавали на реферативный отдел), я напал на знакомый слог: “Имея в виду вышеизложенные обстоятельства, я постараюсь привести в исполнение принятое мной решение, а именно – пойти навстречу смерти...”. Жантиева лишила себя жизни, как потом оказалось, из-за ошибочного диагноза ракового заболевания. Она была одновременно боязлива и бесстрашна. Понимая, что, составляя свои рефераты с подтекстом, молодой нонконформист отводит душу, она качала головой, опасаясь, как бы чего не вышло, и все-таки визировала те же рефераты для распространения. Боялась воды и выбрала самый ужасный для нее способ уйти из жизни – утопиться. Предусмотрительно надев для тяжести зимнее пальто, она бросилась с моста в Язу. Как знать, возможно, у нее в тот момент было то же самое выражение в глазах, какое я видел у нее, когда, пугливо оглядываясь по сторонам, она спрашивала: “Душу отводите?” – и ставила на реферате свою визу.

Выступая на конференции о мировом значении русской литературы с докладом о русско-английских литературных отношениях, сослался я на жантиевскую работу: в числе первых Д. Г. занялась этой проблемой. А фотограф Иванов Владимир Александрович, из архива, составлявший изобразительную летопись ИМЛИ, подошел ко мне и со вздохом сказал: “Вот умерла Диляра и забыли ее совсем” (был он лично несчастен и чужие беды принимал близко к сердцу). При жизни о ней, знавшей историю, философию, и, само собой разумеется, литературу на разных языках, вспоминали только когда требовалось исправить кем-то допущенные неточности.

На том же заседании наш фотомастер сделал снимок во время моего выступления, о чем не стал бы я упоминать, если бы фотограф не щелкнул затвором, чтобы запечатлеть иронию истории. Он увидел у меня в руках брошюру, которую некогда, выступая с той же самой трибуны, цитировал Александр Фадеев, однако выводы из того же источника делал противоположные. Это бы-

ла книжка академика Шишмарева об академике Веселовском, который заложил у нас основы сравнительного изучения национальных литератур. Однако не мировое значение нашей классики, нет, принижение наших классиков извлек Фадеев из той же книжки. Великие русские писатели завоевали мир, усвоив западный опыт, таков был вывод из брошюры, но тогда на выводы компаративистики было решено взглянуть иначе, почему решено, это еще надо выяснять. Так или иначе вывод был сочтен порочным и подвергнут принципиальной критике: наши писатели иностранные влияния, видите ли, испытывали! “Все началось с этой книжицы”, — говорил глава советской литературы, обличая “безродный космополитизм” и потрясая карманного формата буклетом. Тут фотограф Иванов и щелкнул затвором, а как узрел ту же книжицу, но в ином контексте, так опять щелкнул.

Выступление Фадеева (согласно рассказу фотографа) слушал сочинитель вредной книжицы, тогдашний директор института, Владимир Федорович Шишмарев, рядом с ним — его жена (они так и жили в институте). Сидя прямо напротив оратора, в первом ряду, академик слушал адресованную ему инвективу молча, а супруга поражалась: “Какой красивый молодой человек! До чего же красивый молодой человек! Откуда же в нем столько ненависти?”. Время смахнуло агрессию, снимок, сделанный Ивановым, отразил красоту: кажется, красавец поет кому-то хвалу. Украсил бы я этим снимком свой текст, но фотографа Иванова на свете тоже нет, а коллекция его в смутное время исчезла, кто-то сбыл на сторону, вполне возможно, что за границу. А мне ничего нагляднее не попадалось, что отражало бы суть судьбы Фадеева — исковерканной и погибшей незаурядности.

* * *

— А как насчет “нового человека”? — садясь в такси, спросил я у водителя.

— Это еще кто такой? — удивился таксист.

Эрнест Дж. Симмонс (“Новый человек” советского нового образца” — в сб. “Советский Союз меняется”, Изд-во Университета Сев. Каролины, 1966, стр. 19)

“Это разведчик, идеологический разведчик”, — определил, пришептывая и назначая меня в помощники Симмонсу, Родионыч, заместитель директора. Директора приходили и уходили, а Владимир Родионович Щербина, донской казак и балтийский моряк, исполняя директорские обязанности иногда по несколько лет, оставался все на том же вторичном посту. Всех он видел, кого только мог повидать на своем веку наш человек, начавший путь матросом, а в итоге поднявшийся на мостик государственного корабля. Сказал Родионыч то, что сказал, спокойно, как если бы напоминал, какой сегодня день недели и который час. Говорил ровно и негромко, без раздражения и даже без какого бы то ни было выражения, будто говорил он это самому себе. Наш Родионыч руководствовался житейской мудростью, первая заповедь которой учила жить с людьми по-людски. Подобно врачу, который не может вылечить, но старается по крайней мере не навредить, он руководил без ража, без крайностей. У меня на глазах один иностранец попробовал сказать ему: “Ви сажьяли лудей...” — “В жизни никого не погубил!” — раневым быком взревел Родионыч. Это было не только правдой, но и нуждалось в оценке по достоинству, ведь не в стороне от кровавой мясорубки находился этот человек.

Теперь, слышал я стороной, в Институте говорят, будто о нем и вспомнить нечего. Это потому, насколько я могу судить, что нынешние люди несклонны в самом деле представить себе, что это была за эпоха модальности, проще говоря, обязательности, диктующей: или — или. Велика ли доблесть не донести? А вы слетайте на машине времени в ту эпоху и, если сумеете никого не подвести под монастырь и сами под монастырь не попадете, то, коли повезет вам и уцелеете, вернувшись, расскажете, как же вам это удалось.

Иностранными языками не владея, Родионыч понимал без перевода, чего хотят приезжавшие к нам из-за рубежа. И он прежде всего для себя хотел

уяснить, что же означает начавшееся сближение с Западом, в первую очередь с Америкой. “Ставки они делают на молодежь вроде тебя”, – сказал он тем же тоном, как бы безучастным, и не в упрек мне. То была дефиниция, вроде той, что дал он Симмонсу. Вот разведчик, а вот...

У меня же и мысли не возникало о том, что американский ученый может заниматься некоей побочной деятельностью. Ведь у нас о таких литературоведах говорили с иронией – в штатском. Таких у нас в самом деле презирали или по меньшей мере чурались, держась от них в стороне. А мне Симмонс рассказывал о том, как слушал в Гарварде лекции Карповича, как в Париже встретился с Бальмонтом, как видел “Багровый остров” (о котором мы даже не слыхали), когда мы с ним были в Ясной Поляне, расплакался, приговаривая: “Эти русские люди! Какие люди!”, а выступая в музее Достоевского, так разнес фрейдистов, формалистов и прочее немарксистское литературоведение, что сам Ермилов, Владимир Владимирович, впиваясь в него взором и выискивая большое или слабое место для контрудара, нашел излишним выходить на ринг. “Хитер!” – сказал В. В. Наш американский гость-противник, вместо того чтобы оказаться битым, сам себя побил *квантум сатис* -- предостаточно.

В то время как власти подозревали в нем политического лазутчика, мне Симмонс поведал, что его заветная мечта – установить интимные подробности из жизни Чехова. “У вас же нет биографии ни одного вашего классика”, – говорил американец. Имел он в виду жизнеописание, которые Джордж Бернард Шоу, ставший объектом такой инвентаризации при жизни, сравнил с телефонной книгой. Такую биографию, чтобы факт из жизни писателя найти, следует не страницу за страницей читать, а сразу заглянуть в конец – в предметно-именной указатель, где все перечислено в алфавитном порядке с указанием страницы, где об этом прочесть. А... алкоголизм... антисемитизм... Б... болезни. На “П” уточняется, что пил. И с кем спал – на “С”. У нас же биографии не показывают писателя как человека, ибо всякий человек – это человеческие слабости. А у нас – великие, но как бы и не люди. Да, великий человек и слаб иначе. Но как – иначе?

На очевидной неполноте наших биографических сочинений мы с американским биографом сошлись. Почему воспоминания Лидии Авилловой, влюбленной в Чехова (не без взаимности) опубликованы с купюрами? Симмонс спросил меня об этом в ту пору, когда в ИМЛИ и не приступали к ответу на вопрос о том, почему Чехов, объехав чуть ли не полсвета и думая ехать еще дальше, вдруг повернул домой. Все это наши сотрудники, как только возьмутся за издание сочинений Чехова, со временем узнают, но ничего такого не пожелает даже слышать наш академик-секретарь, не разрешит доискиваться причин преждевременного возвращения и своей рукой вычеркнет ночь любви, проведенную Чеховым на берегу Индийского океана, а затем запечатленную со всей живостью чеховским пером. Члены редколлегии будут его молить, будут просить оставить снятый текст в томе чеховской переписки, однако останется неприступен глава советского литературоведения. А что сказал бы шеф наш, Михаил Борисович Храпченко, который сам излишества не предавался, курева не выносил, хмельного не терпел, и раз в жизни, занимая пост Председателя Комитета по делам искусств, запьянел в присутствии Сталина по требованию Берии, после чего тут же отключился, потеряв сознание, а когда пришел в себя, его бережно поддерживал Ворошилов – что бы Михаил Борисович сказал, услышав рассуждения нашего первейшего идеологического врага?

“Если бы удалось мне увидеть рукопись Авилловой, я бы включил какие-то новые сведения во второе издание моей чеховской биографии”, – говорил Симмонс. Авилловская рукопись хранилась не в ЦГАЛИ, а в ЦГАОР, не в литературном – государственном архиве, что придавало ей таинственности. Зачем скрывать признания “чайки”? Что требовало особой секретности в исповеди “попрыгуньи” или “душечки”? Почему была писателем отвергнута еще одна дама, пусть без собачки, зато с детьми? Бумаги на официальных бланках, просьбы, заверенные всеми подписями, все было сделано, что требовалось, чтобы наконец, в порядке исключения, наш враг был допущен к нашим тайнам.

В ожидании Симмонса, пока изучал он засекреченную рукопись, я стоял на Пироговской против угрюмого здания с узкими продолговатыми оконцами,

ибо и самый свет должен был проникать в это капище лишь в строго ограниченных пределах. Сиял веселый солнечный день, и по контрасту с полуденной яркостью исследователь, когда он наконец появился в заветных дверях на выходе, выглядел особенно мрачным. “Ничего там нет”, – буркнул Симмонс. И пошли мы с ним, солнцем палимы. Вдруг, вспомнив что-то, американец спросил: “Куда это вы все предлагали пойти? В жизни на бегах не бывал!”.

* * *

Ездить на класснейших лошадях, возле которых и постоять рядом не каждому доводится, предоставили мне возможность полную и даже дали бумагу, где говорилось “В любое время дня и суток (sic!)”, но условием круглосуточного доступа в святая святых, на призовую конюшню была непричастность к азартной игре. Однако ради гостя пришлось сделать исключение, и выдающийся наездник, обрусевший грузин Костя оказался недоволен лишь тем, что с просьбой пометить в программе, на кого ставить, мы явились к нему прямо перед началом бегов. “Прыбыл, панымаэш, в паслэдну мынуту! Развэ так сэрэзные дэла дэлаут?” – ворчал мой старший друг, а я сослался на неискренность, вынужденную, в делах азарта. “Дэнги твой амэриканэц принэсет?” – задал мастер решающий вопрос. Я поручился за Симмонса. Тогда великий конник, несколько смягчившись, сказал: “Став на мэна”. У нас это верняк в отличие от западных нравов, где признавать поражений не принято, поэтому всегда говорится “Первым буду я”, а чаще всего получается – последним (проверено на опыте).

Мы поспешили в трибуны. Симмонс сделал ставку. Раздался звонок на старт. Пошли! Костя, конечно, был первым. Симмонс получил в кассе выигрыш, и едва только я сказал ему, что надо поделиться с наездником, он воспринял это как само собой разумеющееся, спросил: “Какой процент?” Процент его не удивил и даже вполне устроил. “Как у нас”, – сказал он.

Грянул “Марш победителей”, Костя триумфатором явился перед трибунами, публика возликовала, а сверху на беговую дорожку из гостевой ложи пала тень уникального уса. Ни с каким другим усом спутать было нельзя. Стоило только поднять голову и взглянуть на гостевую ложу: “С неба полуденного жара – не подступи! Конная Буденного...” И тут же азартная игра, как при буржухах. Радости Симмонса не было границ. “Есть куда поехать? С цыганами?” – после нашей удачи спросил он, вероятно, полагая, что время пошло вспять и уже пора гнать туда, куда некогда гнали в сходных обстоятельствах: “Эй, ямщик, гони-ка...” Но прежде надо было отдать деньги. Костя опять заворчал: “Пачэму мало?”

Мы же сделали всего одну ставку! “Нэ надо приэзжат в паслэдную мынуту”, – с укоризной сказал мастер, который, приди мы заблаговременно, готов был одолжить нас доверием полным на все заезды.

Закат пылал, беговой круг остывал от кипевших на нем страстей, посреди высокой травы, на противоположной прямой, словно черти на болоте (так они на фоне горящего небосвода выглядели), Симмонс с Костей делили вырчку.

Цыган мы не нашли, зато ресторанный оркестр рванул рок-н-ролл, и публика, вскочившая как по команде из-за столов, устроила такой шашаб, что у Симмонса из разжавшихся зубов чуть было не выпала дымящаяся трубка, – до того широко раскрылся у него от удивления рот. Если приехал он выяснить, хотят ли советские люди новейшего образца плясать под их музыку, то представить себе такой готовности он не мог.

Симмонс чувствовал себя окунувшимся в нашу жизнь. Какие бы разговоры он прежде ни вел без моего посредничества, оставался советолог на обочине. Запросы у него, конечно, были скромные. Интимные подробности! Новый человек! Сравнить ли со скандальной ситуацией перестроечных времен: не старомодный, благорасположенный к русским, занятый тайнами из частной жизни наших классиков и взглядами наших таксистов на человека коммунистической эры, некогда находившийся на подозрении у Маккарти, ныне всеми у себя уже забытый Симмонс, нет, движимый идеей уничтожения СССР ненавистник был допущен к политическим архивам, каких мы сами и не мечтали на своем веку увидеть.

Допустила ненавистника сотрудница, завархивом, которая обычно спрашивала у меня источники английских цитат. “Ах, брось свое лекарство собакам!” (из “Ромео и Джульетты”). На общем собрании стали ее прорабатывать, и со слезами в голосе она вымолвила: “Разве допустила бы я такого читателя по своей воле?”. Чья была воля, мы так и не узнали, да и не спрашивали. Но как же так – велят и... и прорабатывают? Левая рука не знала, что делала правая? Очевидно, в ту пору левая и правая тянули решительно в разные стороны.

Один из тех, кого допускали, когда нас придерживали, не только издал наши архивы, но уже выпустил и свои воспоминания о том, как ему это удалось. Тот ли самый был читатель или другой, не знаю, но ситуация сходная. Мемуарист, глава американского проекта по изданию советских партийных документов, поет хвалу А. Н. Яковлеву как “истинному интеллектуалу”, который своей властной поддержкой обеспечил успех проекта¹. Пуцать чужих и держать своих, – чтобы такие жандармско-либеральные директивы безнаказанно давать, требовался, безусловно, интеллект самого высокого уровня.

Прибегая к дырявым, как решето, запретительным мерам, создавали мы прославляемых на Западе мучеников, а Симмонс, наблюдая наш недалёковидный самоподрыв, пожимал плечами. Но чтобы антикоммунистическая политика проводилась коммунистической властью, – ситуация поставила бы корифея советологии в тупик. Слышал же я, как директор Гуверовского института революций и гражданских войн ответил, когда на последнем конгрессе советологов стали его тоже “прорабатывать”, допытывать, как проглядел он грядущий крах СССР, и глава учреждения, изучавшего социальные перевороты, воскликнул в свое оправдание тоном нашей без вины виноватой сотрудницы: “Кто же мог предвидеть, что во главе Коммунистической партии встанет человек, который пойдет против своей партии?!”

* * *

По дороге в гостиницу мы возобновили разговор о биографическом жанре. “Почему, ну почему если писатель, то непременно должен вести порочный образ жизни?” – возмущалась, слушая нас, жена Симмонса. А супруг-биограф пояснил: “Это нормально”. И надо было видеть взгляд, брошенный на мужа-пушкиниста мало видевшей в жизни супругой. Очутившись у нас, госпожа Симмонс то и дело повторяла: “В жизни никогда такого не видала!”.

Из Америки профессор Симмонс мне прислал свои книги. Биографии Пушкина, Толстого и Чехова я получил беспрепятственно. Некоторые его труды, вроде “Введения в русский реализм”, уже не говоря о “Зеркале советской литературы”, осели в спецхране. Однако сборник со статьей, где была запечатлена беседа с водителем такси, уже не Главлит, а Симмонс не счел нужным мне посылать. Ученый подверг себя своей собственной цензуре и сам себя “закрыл”, словно мне и знать не полагалось, что американский биограф великих русских писателей печатает работы, написанные на основе разговоров с московскими таксистами. Когда же сборник со статьей Симмонса попал мне в руки, я убедился – то был один из первых сигналов, насколько мы, по мнению экспертов и, прежде всего, составителя и редактора сборника, созрели для компромисса с Западом.

Услышал я от американца моих лет и такую историю, на фоне которой всплыл в памяти Родионич, пришептывающий “разведчик”. Оказывается, Симмонс вызывал его, моего американского сверстника, тогда аспиранта, в Посольство США, вызывал на проработку. В круг интересов и обязанностей видного ученого-руссита и советолога, видно, входила не только полевая работа среди нашего населения, но и надзор за американскими стажерами. Младший коллега получил от Симмонса выволочку, за что обычно дают выволочку: занимался не тем, чем нужно – Пушкиным, а не тематикой, какой в то время, выходит, занимался сам Симмонс, вступая в контакт с таксистами.

5 См. Jonathan Brent. Inside the Stalin Archives. Discovering the New Russia, Atlas & Co, 2009.

“Такое яркое явление, как Эрнест Дж. Симмонс...”

Альберт Парри (Америка изучает русский. История преподавания русского языка и русской литературы в Соединенных Штатах. Издание Университета Сиракуз в штате Нью-Йорк, 1967, стр. 111)

“Что же это получается? Выходит, все там работали?” Таким вопросом задаются рецензенты ныне выходящих книг о вовлеченности западной интеллигенции в разведывательную деятельность. Что ж, была работа, а за работу платили. В труде “Холодная война на культурном фронте. ЦРУ в мире искусства и литературы”¹ я насчитал десяток людей, с которыми имел дело на основе наших совместных проектов. Некоторые из них были склонны нас третировать как ставленников советского режима, партийных пешек и клевретов КГБ. Иных уже нет, а другие отрицают свою причастность к той деятельности, за которую они получали деньги. Допустим, получали, но понятия не имели, что это за деньги, откуда поступают! Положим, знали, ну, и что из этого? Разве им приказывали думать или говорить так, а не иначе? За те же деньги они выражали сугубо свои взгляды и убеждения! Свои не свои, приказывали или нет, но как-то так получалось, что их независимые взгляды совпадали с государственной политикой страны, оплатившей поездку свободно мыслящих писателей, критиков и литературоведов в нашу страну, где они свои взгляды высказывали. А мы? Мы были мучимы сознанием своей несвободы.

“По-вашему, все советологи работают на ЦРУ?” — слышал я от людей, ставших превратить мою точку зрения в удобную мишень для нападок. Нет, это не “по-моему”. Это говорили сами же американцы, говорили открыто, хотя не так грубо и глупо. Изучать литературу? Какую? Русскую? Советскую? А... зачем? Мы занимались американской литературой “из любви”, у них изучение нашей литературы мотивировалось практически. Они слабо изучали нас до начала холодной войны и почти перестали изучать сразу после ее окончания. Как только закончилась идеологическая конфронтация, так закрылись издательства, что процветали, выпуская книги на русском языке. Зато времена противостояния явились золотым веком советологии и руссистики: за годы холодной войны успели выпустить тридцать пять томов энциклопедии нашей литературы, а закончили издание на исходе двадцатого века, выпустив шестьдесят томов.

Что уж говорить об идеологической бомбе замедленного действия, вроде Достоевского, к которому мы сами долгое время опасались прикасаться! А ведь печаталась не какая-нибудь грубая пропаганда. О, нет, зачем же? По рекомендации американских ученых шли потоком наши стихи и проза, лед и пламень. Добился этого, понятно, не один Симмонс. Он входил в мозговой трест того поколения советологов, которое сумело кому надо объяснить, что такое литература в СССР — сила, советские писатели — властители дум: найдите к ним подход, и страна будет в ваших руках. Поэтому Рейган, как приехал в Москву, так первым делом пошел не в ЦК, а в ЦДЛ, где он, правда, во время встречи с писателями заснул: об их желании, чтобы их поменьше прорабатывали, он уже слышал семь раз.

Число я узнал из первоисточника. С автором “Истории русской культуры” Сюзанной Мейси мы принимали участие в одном и том же школьном мероприятии на Лонг-Айленде. Сюзанна рассказывала, как она пробилась к президенту, чтобы объяснить ему, какие у нас замечательные люди (ссылка Сюзанна не делала, но мой внутренний голос крикнул: “Симмонс!”). Люди замечательные, у них режим плохой, следует вбивать клин между ними и властями, делая это через культуру. Рейган был настолько поражен рассказом, что просил Сюзанну это повторить и даже советников своих приглашал, чтобы и они послушали, так — семь раз, а в Москве сразу отправился к писателям.

1 Frances Stonor Saunders. The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press, 1999.

До поры до времени на слух практичных американцев идея Симмонса о значении литературы звучала столь же дико, как на слух нашего руководства сообщения о том, что советско-американские литературные мероприятия курирует Пентагон с ЦРУ. Мнения самых авторитетных профессоров не убедили бы американцев заняться русским языком и литературой. Поверили они таким экспертам, как Симмонс, не сразу, а лишь после того, как поступил довод с нашей стороны. Полетел спутник и напугал их. Напугал не спутник сам по себе — напугали носители, поднявшие нашего пискливого малютку в космос. “Откуда же у русских ракеты мощнее наших?” — стала с тревогой спрашивать Америка. Тут и пришла очередь советологов торжествовать: “Мы говорили — образованность! Народ читателей, и несмотря на бардак, когда за ум берется, чудеса творит”. И был принят Оборонный Акт по Образованию. Взгляните на сочетание “оборонный” и “образование”, и станет ясно, что было так трудно объяснить в свое время без того, чтобы не оказаться обвиненным в примитивной политизации: хлынул золотой дождь на все, что только ни было связано с нашей страной, от производства ракет, которые нацеливались в нашу сторону, до русского языка и литературы, которые стали изучать с той же целью, с какой строились ракеты.

“Так вы хотите сказать, что наши литературные проекты и звездные войны взаимосвязаны?” — настороженно спросил меня Г. П. Бердников, четвертый на моем веку директор ИМЛИ. Он прочитал черновик отчета о нашей совместной командировке в США. Вот что в самом деле я хотел сказать и написал, пользуясь американскими печатными источниками.

Согласно постановлению, принятому Конгрессом еще в 1957 году, американцы совместно с нами изучают Толстого, то есть под изучение, допустим, переписки Толстого с американцами отпущены деньги, и согласно тому же постановлению средства идут на космические исследования. Пусть расходы на Толстого и Марка Твена, вместе взятых, не сопоставимы с затратами на изготовление баллистических ракет, но расходы идут по одной и той же статье, оборонной. Уж как распределяются средства, по каким каналам растекаются, не наше дело заглядывать в чужой карман, но целевое назначение любых затрат одно и то же, военно-стратегическое.

Связь между изучением русско-американских литературных отношений и военно-промышленным комплексом иногда очевидна. В программе конференции по славистике, на которую мы были приглашены, значит, что субсидировалась конференция военно-воздушными силами США. Во время заседания нашей секции по литературоведению американские участники просили нас завершить обсуждение взаимоотношений Тургенева с Генри Джеймсом поскорее, им нужно было успеть на поезд из Нью-Йорка в Вашингтон. Отправлялись они в столицу, на площадь Лафайет (вроде нашей Старой и Красной площади), чтобы объяснить там кому следует значение науки о литературе в свете общеполитических задач. Откуда это известно? Наши идеологические противники сами сказали: “Едем на закрытое совещание о целях изучения вашей страны”.

Из оборонных источников во имя оборонных целей субсидируется множество на вид мирных изданий, скажем, англо-русский словарь идиом, великолепный словарь. Субсидируются переводы, на которые едва ли стоило тратить деньги, набоковские переводы русской классики. Если судить по титульным листам, деньги на издание переводов шли от частных компаний, но что это были за частные компании, что они выпускали? На перевод “Евгения Онегина” Набоков деньги получал от Боллингена. Чем, кроме субсидий на переводы русской классики, занимается эта фирма? Крупнейшее военно-химическое предприятие¹. Холодная война на культурном фронте ведется против нас нашей классикой. Снабжаемые иностранными издательствами американские спецслужбы распространяют (и все — задаром) поэзию и прозу Серебряного века. Желаящим раздают американско-русские издания Ахматовой с Цветаевой и Гумилева с Мандельштамом. Наш гость, ныне уже покойный, Симмонс был в числе членов-учредителей редколлегии “Русской библиоте-

¹ Набоков чурался жениного родственника, подозреваемого им в некоей побочной деятельности, однако его собственный кузен Ник, второе по значению лицо в Комитете по делам искусств при ЦРУ, занимался распределением финансов на культурно-пропагандистские нужды. Перепадало ли брату-писателю из тех же щедро отпускаемых государственных средств? Это дело биографов выяснить, чего делать они не торопятся, хотя изучают бабочек, которых он ловил.

ки”, где выходило в точности все то, чего мы не печатали. Положим, Симмонс, когда приехал к нам (свидетельствую), не слышал об Андрее Платонове, но как только мы стали нашего забыто-замалчиваемого писателя переиздавать, однако все же *не полностью*, выпуск всего, что у нас не издавалось, превратился на Западе в целую платоновскую промышленность. Мы и слышать не хотим о Константине Леонтьеве – в США выходит сборник его статей, а основной его критический опус “Анализ, стиль и веяние” печатается прямо по-русски с американским аппаратом. Что им Леонтьев, презиравший людей Запада как убогих мещан? Взятый им у Герцена тезис о “последнем слове” Европы, выродившейся до посредственности, они, понятно, разрабатывать не будут, как со своей стороны мы особенно не напирали на социализм, который, согласно тому же Герцену, “выродится до нелепости”. Однако они будут печатать Леонтьева постольку, поскольку мы его не печатаем. Что им Розанов с его изворотливым антисемитизмом? А то, что он замалчивается у нас. Поэтому книги Розанова переводятся или же прямо на языке оригинала печатаются в США. Список изданий, выпускаемых за рубежом по разделу русистики, свидетельствует, кого и когда там издают – того и тогда, кого и когда мы не считаем нужным издать. Едва мы умалчиваем, по нашим “белым пятнам” начинают бить прямой наводкой, работает промышленность, выпускающая лавовую продукцию, как военно-промышленный комплекс, на те же средства.

“Знаешь что? – сказал Бердников, переходя на “ты”, чтобы поделиться со мной чем-то душевным. – Давай лучше вычеркнем все это”. Участник боев подо Мгой, советник правительства, наш человек, смотревший в глаза смерти и знавший, что такое отвечать за каждое слово головой, ведущий советский участник холодной войны, принял решение не называть вещи своими именами. Литературный консультант нашего политического руководства велел мне вычеркнуть из нашего отчета самую политическую суть того, что мы видели своими глазами и слышали своими ушами. Он же отказался осматривать книжную выставку в Нью-Йорке, посвященную советологии. А там только на русском языке свою продукцию демонстрировали семнадцать иностранных издателей. Размещалась выставка в гостинице, которой теперь нет, между двумя уже не существующими башнями Центра мировой торговли. Вышли мы из залов, забитых книгами по нашей истории, экономике, политике, литературе, и глава исследовательского центра, в котором высококвалифицированные специалисты изучали предания всех времен и народов, угрюмо глядя на меня, спросил: “Кто-нибудь у нас имеет хоть какое-то представление обо всем этом?” Что на это скажешь? Да и не требовалось ответа. “Пошли отсюда”, – дал мне приказ наш многоопытный директор, и пошли мы с книжной выставки. При этом участник Мировой войны выглядел так мрачно, будто на него смотрели пушечные жерла. Мощная международная книжная батарея была нацелена на ту щель, которую в нашем культурном пространстве некогда обнаружил профессор Симмонс – между литературой в СССР и советской идеологией. Щель была размером с пробоину в стене того сарая, откуда у Марка Твена был украден белый слон, но, как известно, слона увели, по мнению всевидящих сыщиков, не через пробоину, а сквозь какое-то другое отверстие, обнаружить которое так и не удалось. А мы не хотели замечать той же щели, будто ее и не было, либо прибегали к бьющим мимо цели дисциплинарно-полицейским мерам. Зато очень тщательно, под руководством специалистов от литературы, в нее всматривались из-за океана.

Верны ли были их наблюдения? Тонки ли суждения? Выдумывал бы я, а не вспоминал, если бы не признал, что многое у зарубежных литературоведов, а также историков, явилось для меня откровением. В свое оправдание спрощу: а сколько у нас замалчивалось и лишь под “гайкой” у советологов можно было найти хоть какой-то, а все-таки ответ? Шедшие от них сведения были-таки сведениями, и примеров тому нет числа. У нас чуть ли не треть всех книг находилась в спецхране. Закрыто и замолчано. Не было статей ни о Троцком, ни о Бухарине – в какой книге? В Энциклопедии Великой Октябрьской Социалистической революции, где я даже собственного деда-эсера обнаружил¹. Многих советологов я знал – чуть ли не всю профессию. Не боги в

¹ Василий Ефимович Урнов (1883–1957) – из крестьян, окончил Народный университет им. Шанявского с дипломом по истории и экономике, в мае-октябре 1917 года был председателем Московского Совета солдатских депутатов, в 20-х годах как экономист-кооператор работал в Центросоюзе, подвергся чистке и стал лишенцем.

Америке наши горшки обжигали, это было очевидно. Попадались среди них неумные и нечестные люди (где таких нет?), но у всех у них имелось преимущество перед нами, которое мы им сами же и представили – занимались они тем, к чему мы сами не смели прикасаться или же прикасались так, что уж лучше не надо. Вышла американская история ЦРУ, из которой следует, что на протяжении холодной войны американское разведывательное ведомство тем только и занималось, что делало глупости. Очевидно, раз мы проиграли, мы делали еще больше глупостей. Источником американских глупостей, согласно автору, служила неосведомленность и просто-напросто невежество. А наша наибольшая глупость, насколько я могу судить в пределах своего служебного кругозора, заключалась в неиспользовании знаний. Что ни возьми, наши специалисты знали не только больше кого бы то ни было, они тоньше понимали любую из подобных проблем, но их осведомленность и понимание оставались втуне, на дискуссионную арену выходили они как бы поглупев. Советологи могли быть пристрастны и просто примитивны, но искали, находили, всматривались и видели у нас, что им было нужно усмотреть. Путем избирательного внимания к нашим писателям всматривались они в эту самую, замеченную Симмонсом щель, и как ломиком орудовала целая армия славистов, руссисстов, советологов, постепенно эту щель увеличивая, пока наконец не рухнула вся постройка. Огромные силы были вовлечены в этот процесс. Оказались, как говорится, задействованы всевозможные организации и, конечно, гигантские деньги. Финансирование связывало и объединяло все эти силы. Безграничные средства отпускались на поддержку протеста, оппозиции, освободительных движений, свободы творчества и борьбы за права. Изучение этих операций только начинается, но именно потому, что все связано с деньгами, уже первые опыты показывают, что можно проследить чуть ли не по ведомостям – кто и сколько получал.

Открывшимися по ходу холодной войны финансово-практическими возможностями наши противники пользовались и охотно брали на себя исполнение миссии, литературоведам не свойственной. Щербина, языков не зная, пускал в ход грубые определения, как “разведчик” и даже “шпион”. Политический стратег – вот как назывались, чтобы они себя чувствовали комфортно, ученые, чьими консультациями пользовались разведывательные органы. Симмонс до этого звания не дослужился или же просто не дожил до времени, когда звания ввели. Зато друг его Исая Берлин не только числился стратегом (согласно книге “Холодная война на культурном фронте”, стр. 12–273), он на практике подтвердил важнейшее открытие советологии о возможности использовать литературу в политических целях: стоит только обратить особое внимание на кого-то из советских писателей, и впоследствии обостренная реакция властей, что с началом холодной войны он и проделал, пойдя с В. Н. Орловым к Анне Ахматовой, о чем написал досье, из которого следует: пора браться за литературу.

А мои литературные начальники требовали от меня вычеркивать малейшее подобие того, что могло выглядеть не нашим делом. Бердников велел суть отчета вычеркнуть, чем и ограничился, а мотивы сокращений, прочитав черновик, открыл мне Родионыч. “Зачем вы толкаете нас в объятия КГБ?” – перейдя вдруг на обращение официальное, но, как всегда, спокойно и миролюбиво, упрекнул меня выдавший виды заместитель всех директоров. Пока приходил я в себя после ошеломляющего упрека, Родионыч, пришептывая, продиктовал, что, вместо моего абзаца, следует написать, и звучит в памяти незабываемый голос времени: “Вооруженные передовой маркшишто-лениншской методологией, советские литературоведы в ходе острейшей дискуссии с нашими идеологическими противниками неуклонно проводили линию на укрепление мешдународной разрядки во имя мирного сосуществования между нашими штранами и торшества коммунистических идей”.

Узнав, что славистика находится под крылом у военно-воздушных сил, ветераны Второй Мировой, мои начальники, – трусили? Страшила их необходимость сообщать куда следует, а там спасибо скажут, но из объятий своих не выпустят, и будешь ходить в штатском. Ладно, не будем бросаться в цепкие объятия Лубянки, но разве лишь на этой площадке интересуются названием вещей своими именами? А почему же на Старой площади этим не интересуются? Желая дать мне представление о том, что происходит на Старой площади, мой начальник, консультант правительства, придал своему лицу

выражение морды Молоха, сделав наглядным, как злое божество пожирает свои жертвы живьем.

Спустя некоторое время после того, как был вычеркнут из нашего черновика мой абзац, директор вдруг вызвал меня и велел: “Восстанови! Сотрудник у соседей арестован как шпион”. Соседями нашими, через дорогу за углом, был еще один исследовательский институт. Восстановить всего несколько строк было недолго, но – поздно. Тот же сотрудник, американист, сопровождавший Ельцина в США, успел стать героем дня и, давая телевизионное интервью, в ответ на вопрос, зачем еще только будущий глава нашего правительства уже успел съездить за океан на поклон в Белый Дом, ответил: “Соединенные Штаты координируют процесс демократизации в мире”.